

Зимний Вайб

АишкУМа



Аишкина
Зимний Вайб

«Автор»

2026

Аишкина

Зимний Вайб / Аишкина — «Автор», 2026

Лёша остаётся в Челябинске на зиму, записывает треск льда и её дыхание на морозе. В феврале — письмо из московской лаборатории: постоянный контракт. Девять дней на выбор. Даша молчит — не просит остаться. Он уезжает. Даша едет на выставку в Москву — шестнадцать колонок, шестнадцать городов. Тринадцатая — Челябинск: трамвай, пух, их голоса. Незнакомец слушает пятнадцать минут с закрытыми глазами. Лёша отказывается от контракта. Возвращается, делает звуковую карту Челябинска. Люди пишут: «Тридцать лет живу здесь и не знал, как он звучит». В августе он впервые говорит: «Я люблю тебя». Она отвечает: «Ты — мой звук». За окном мигает «КОФ». Буква «Е» не горит. И в этом — всё.

© Аишкина, 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	7
Глава 3	9
Конец ознакомительного фрагмента.	10

Аишкина Зимний Вайб

Глава 1

Минус двадцать пять

Январь в Челябинске — это не месяц, это состояние. Время перестаёт быть временем и становится температурой: минус двадцать, минус двадцать пять, минус тридцать. Не «вчера было тепло, сегодня холодно» — а «вчера было минус двадцать, сегодня минус двадцать пять», и между ними — пять градусов, которые ощущаются как пропасть, как граница между «ещё можно дышать» и «воздух режет лёгкие ножом».

Лёша остался. Не навсегда — он сказал «на январь, может, на февраль», — но остался, и это было достаточно, потому что в январе достаточно одного дня, чтобы понять: есть «до» и «после», и «после» — это когда ты знаешь, что завтра человек будет здесь, и послезавтра тоже, и ты больше не считаешь дни до его приезда, потому что он приехал.

Он снял квартиру на улице Цвиллинга — в трёх домах от Даши. Бывшая коммуналка, переделанная в студию: одна комната, кухонный угол, окно на восток, так что по утрам солнце било прямо в лицо, и Лёша просыпался в семь, хотя никуда не торопился, потому что свет не спрашивал разрешения. Даша приходила к нему после смены — в восемь вечера, когда «Параллель» закрывалась и Лена выгоняла её домой: «Даш, иди, ты мне тут не нужна, у меня тоже есть жизнь, предположительно». Она приходила, и они сидели на его кухне, и пили чай — не кофе, потому что после восьми часов за кофемашиной кофе пах тошнотой, а чай — нет, — и Лёша рассказывал про Москву, про лабораторию, про людей, которые работали со звуком так, как Даша работала с кофе: с *obsession*, с манией, с любовью, от которой невозможно отказаться.

Он говорил, что Москва звучит как огромный механизм, в котором каждый человек — шестерёнка, и все шестерёнки крутятся, и трещат, и скрипят, и от этого рождается гул — не шум, а гул, низкий, постоянный, как гигантский *transformer* на подстанции. «Там нет тишины, Даш. Даже ночью. Даже в три часа, когда все спят. Город не спит — он гудит. Метро дышит в вентиляционных шахтах, отопление стучает в трубах, провода гудят на фонарях. Москва — это город, который не умеет молчать».

Челябинск умел. В январе, в минус двадцать пять, когда люди прячутся по домам и улицы пустеют, город замолкал — не полностью, а до шёпота. Трамваи ходили реже, и их звонок на повороте у почтамта был не три звона, а два — будто трамвай экономил силы, берёг звук, как человек бережёт дыхание на морозе. Машины ехали тихо, шины по снегу — мягкий, скользящий звук, как ладонь по бархату. Люди не разговаривали на улице — прижимали подбородки к воротникам и молчали, потому что открывать рот на минус двадцать пять — это значит терять тепло, а тепло было валюта, дороже золота.

Лёша записывал. Он выходил в шесть утра, когда город был пуст, и шёл по Кирова к набережной Миасса, и записывал. Река замёрзла — не гладко, а буграми, лёд вставал торосами, как маленький горный хребет, и Лёша говорил, что лёд звучит: трещит, поёт, стонет, когда вода под ним движется, ищет выход, не находит и жалуется. Он записал треск льда на реке — и Даша услышала в нём что-то похожее на скрип карусели: тот же надлом, та же нотка, которая выше, чем ожидаешь.

Однажды они гуляли по набережной — в минус двадцать два, и Даша мёрзла, и нос был красный, и щёки горели, и ресницы слипались от инея, и Лёша остановился и записал, как она

дышит: быстрые, короткие вдохи, и пар изо рта, и лёгкий хрип на выдохе, потому что воздух сухой и царапает горло.

— Это мой любимый звук, — сказал он, убирая микрофон в карман.

— Какой? — не поняла Даша.

— Как ты дышишь на морозе. Как будто воздух — это нечто, что нужно жевать, а не вдыхать. Как будто ты ешь зиму маленькими порциями.

Даша засмеялась, и пар от смеха поднялся к небу, и небо было серое, низкое, тяжёлое, и в нём не было ничего, кроме обещания снега, и обещание было таким же тёплым, как Лёшины слова.

Они вернулись в кофейню. Лена налила им глинтвейн — «секретный ингредиент» теперь не был секретом: это был имбирь, щепотка, на кончике ножа, — и Даша пила, и обжигалась, и Лёша смотрел, как она обжигается, и не предупреждал, потому что знал: она обжигается каждые раз, каждый, и каждый раз удивляется, и в этом — вся Даша.

В тот вечер Даша впервые подумала: а что если не Москва? А что если он останется? А что если лаборатория — не навсегда, а выставка — не цель, а этап, и этап можно пройти и вернуться? Она не спросила. Не потому что боялась ответа — а потому что не хотела, чтобы вопрос звучал как просьба. Она не просила. Она жила. И ждала. И это было новое умение — ждать без тревоги, без экрана, без свайпов, просто зная, что завтра он будет здесь, и это достаточно.

Глава 2

Белый шум

Февраль был длинным. В Челябинске февраль всегда длинный — не потому что в нём двадцать восемь дней, а потому что каждый из них тянется, как жвачка, и кажется, что месяц не кончится никогда, и весна — это миф, придуманный кем-то в тёплых краях.

Снег шёл каждую ночь. Не мокрый, не нерешительный — сухой, мелкий, как мука, и он не падал, а летел, горизонтально, потому что ветер дул с северо-востока, с озёр, с Урала, и нёс этот белый шум, эту белую дробь, и она била в окна, и стёкла дребезжали, и звук был — Даша нашла слово — панический. Как будто снег торопится, боится опоздать, боится, что зима кончится, и он не успеет.

Лёша записал метель. Он вышел на балкон своей квартиры в два часа ночи, когда ветер ревел, как животное, и снег летел стеной, и записал. Потом показал Даше волнограмму: белая стена звука, ровная, гудящая, без пауз, без провалов, без нюансов. Белый шум — самый честный звук, потому что он не притворяется, не украшает, не фильтрует. Он просто есть.

— Белый шум — это звук, в котором есть всё, — объяснил Лёша. — Все частоты, все ноты, все голоса. Но ни один из них не выделяется, потому что все звучат одновременно, и в этом — тишина. Парадокс: максимальный звук равен тишине. Если всё звучит — ничего не звучит.

Даша думала об этом, пока наливала латте студентке с короткой стрижкой, которая снова перешла на овсяное молоко, потому что «после Нового года решила следить за здоровьем, наверное». Белый шум. Всё звучит — и ничего не слышно. Как лента в телефоне: всё происходит — и ничего не происходит. Все живут — и никто не живёт. Все говорят — и никто не слышит. Белый шум соцсетей, в котором каждый голос — часть стены, и стена глухая, и за ней — ничего.

Она удалила соцсети в ноябре, но мысль осталась. Мысль о том, что мир — не экран, а окно, и за окном — не контент, а жизнь, и жизнь не фильтруется, а случается, и в этом её ценность: в том, что она случается, а не планируется.

Лёша получил письмо из лаборатории. Даша увидела, как он читает — за столиком у окна, с ноутбуком, и лицо его меняется, как небо перед грозой: сначала ровное, потом — тень, потом — свет, и она не могла прочесть, что там, но видела, и видела достаточно.

— Что? — спросила она, подходя к столику с тряпкой, потому что протирать стойку рядом с его столиком стало её способом спросить, не спрашивая.

— Предложение, — сказал он. — Постоянный контракт. Лаборатория. Москва. Зарплата, командировки, студия, оборудование. Всё, о чём я мечтал, когда мне было двадцать и я не знал, что звук — это профессия.

Даша кивнула. Протёрла стойку. Пошла к кофемашине. Налила эспresso. Выпила. Обо-жглась. Не удивилась.

— И? — спросила она, вернувшись.

— И я не знаю, — сказал он. И посмотрел на неё — не на неё, а в неё, как смотрят, когда ищут не ответ, а отражение. — Даш, я не знаю. Мне нужно решить до первого марта.

Девять дней. Девять дней, чтобы решить, останется ли Лёша в Челябинске или уедет в Москву навсегда. Девять дней, которые Даша проживёт как девять зим — длинно, медленно, белым шумом, в котором всё звучит и ничего не слышно.

Она не просила его остаться. Она не говорила «не уезжай», не писала «мне без тебя плохо», не выкладывала грустные сторис — потому что сторис нет, и грусть не для экрана. Она подавала кофе, мыла чашки, меняла фильтры, и каждый раз, когда руки занимались привычным, голова прокручивала одно и то же: он уедет. Он останется. Он уедет. Он останется. Белый шум, в котором два голоса — «уедет» и «останется» — звучат одновременно, и ни один не громче другого.

Глава 3

Тающий

Первого марта Лёша сказал, что уезжает.

Не сразу — не первым марта, а третьего, потому что первые два дня он собирался с духом, и Даша видела, как он собирается, и не торопила, потому что торопить — это как толкать человека к краю, а край — это решение, и решение должно быть его.

Он сказал в кофейне, за столиком у окна, между глотками капучино, которое Даша налила ему с рисунком — сердечко, которое она делала впервые и которое получилось кри-вым, и от этого ещё более настоящим, потому что ровные сердечки — для меню, а кривые — для жизни.

— Я еду, — сказал он. — Контракт на год. Может, на два. Я не могу отказаться, Даш. Это — то, ради чего я учился, записывал, ездил, слушал. Это — мой звук.

Даша кивнула. Она кивала, и кивала, и кивала — и каждый кивок был как удар, не по ней, а по воздуху вокруг неё, по тому пространству, которое было «мы», и которое теперь становилось «он» и «я», и между ними — снова тысяча километров, поезда, рельсы, мороз, и трамвай, который звенит на повороте, но уже без него.

— Я знаю, — сказала она. — Я знала. Это правильно.

И это было правильно. Она знала. Она знала с того момента, как увидела его лицо, когда он читал письмо из лаборатории. Свет, который она приняла за радость, был радостью — настоящей, чистой, не замешанной на сомнении. Он хотел этого. Он заслужил этого. И любить человека — значит хотеть, чтобы он получил то, чего заслужил, даже если получение означает рас-стояние.

— Но, — сказал Лёша, и Даша подняла глаза. — Но я не исчезну. Мы уже это проходили.

— Мы уже это проходили, — повторила она. И засмеялась — коротко, сухо, не весело, а от усталости, от того, что дежав-вю — это не мистика, а бытовуха, и повторяться — не про-клятие, а закон жизни, и второй раз не легче первого.

Лёша уехал шестого марта. Даша провожала — на этот раз на вокзал, потому что в декабре она не поехала, и пожалела, и теперь решила: если есть шанс пожалеть о том, что не сделала, — лучше сделать и не пожалеть. Она стояла на перроне, и поезд был красный, и снег был грязный, и мартовское солнце светило ярко и безжалостно, как лампа в операционной, и всё было ясно и резко, и Даша не плакала, потому что плакать на вокзале — это кинематогра-фично, и она уже говорила это, и повторяться — не проклятие, а закон жизни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.